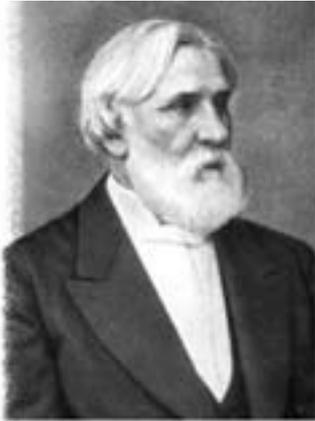


Из речи по поводу открытия  
памятника А.С. Пушкину  
в Москве 6 июня 1880 года



Иван Тургенев  
(1818–1883)

...Пушкин был первым русским художником-поэтом. Художество, принимая это слово в том обширном смысле, который включает в его область и поэзию, — художество как воспроизведение, воплощение идеалов, лежащих в основах народной жизни и определяющих его духовную и нравственную физиономию, — составляет одно из коренных свойств человека. Уже предчувствуемое и указанное в самой природе, художество — искусство — является, правда, тоже как подражание, но уже одухотворённое в самой ранней поре народного существования, как нечто отличительно-человеческое. Дикарь каменного периода, начертавший концом кремня на приспособленном обломке кости медвежью или лосиную голову, уже перестал быть дикарём, животным. Но только тогда, когда творческой силою избранных народ достигает сознательно-полного, своеобразного выражения своего искусства, своей поэзии — он тем самым заявляет своё окончательное право на собственное место в истории; он получает свой духовный облик и свой голос — он вступает в братство с другими, признавшими его народами. Недаром же Греция называется родиной Гомера, Германия — Гёте, Англия — Шекспира. Мы не думаем отрицать важность других проявлений народной жизни — в сфере религиозной, государственной и др.; но ту особенность, на которую мы сейчас указывали, даёт народу его искусство, его поэзия. И этому нечего удивляться: искусство народа — его живая, личная душа, его мысль, его язык в высшем значении слова; достигнув своего полного выражения, оно становится достоянием всего человечества даже больше, чем наука, именно потому, что оно — звучащая, человеческая, мыслящая душа, и душа неумирающая, ибо может пережить физическое существование своего тела, своего народа. Что нам осталось от Греции? Её душа осталась нам! Религиозные формы, а за ними научные, также переживают народы, в которых они проявились, но в силу того, что в них есть общего, вечного; поэзия, искусство — в силу того, что есть в них личного, живого.

Пушкин, повторяем, был нашим первым поэтом-художником. В поэте, как в полном выразителе народной сути, сливаются два основных её начала: начало *восприимчивости* и начало *самодетельности*, женское и мужское начало, — осмелились мы бы прибавить. У нас же, русских, позднее других вступивших в круг европейской семьи, оба эти начала получают особую окраску;

1  
Гений берёт своё  
добро везде,  
где его находит  
(франц.).

восприимчивость у нас является двойственною: и на собственную жизнь, и на жизнь других западных народов со всеми её богатствами — и подчас горькими для нас плодами; а самодеятельность наша получает тоже какую-то особенную, неравномерную, порывистую, иногда зато гениальную силу: ей приходится бороться и с чуждым усложнением, и с собственными противоречиями. Вспомните, мм. гг., Петра Великого, натура которого как-то родственна натуре самого Пушкина. Недаром же он питал к нему особенное чувство любовного благоговения! Эта двойственная восприимчивость, о которой мы сейчас говорили, знаменательно отразилась в жизни нашего поэта: сперва рождение в стародворянском барском доме, потом иноземческое воспитание в лицее, влияние тогдашнего общества, проникнутого извне занесёнными принципами; Вольтер, Байрон и великая народная война 12-го года; а там удаление в глубь России, погружение в народную жизнь, в народную речь, и знаменитая старушка-няня с её эпическими рассказами... Что же касается до самодеятельности, то она в Пушкине возбудилась рано и, быстро утратив свой ищущий, неопределённый характер, превратилась в свободное творчество. Ему и восемнадцати лет не было, когда Батюшков, прочитав его элегию «Редеет облаков летучая гряда», воскликнул: «Злодей! как он начал писать!» Батюшков был прав: так ещё никто не писал на Руси. Быть может, воскликнув: «Злодей!», Батюшков смутно предчувствовал, что иные его стихи и обороты будут называться пушкинскими, хотя и явились раньше пушкинских. «Le génie prend son bien partout où il le trouve»<sup>1</sup>, — гласит французская поговорка. Независимый гений Пушкина скоро — если не считать немногих и незначительных уклонений — освободился и от подражания европейским образцам и от соблазна подделки под народный тон. Подделываться под народный тон, вообще под народность — так же неуместно и бесплодно, как и подчиняться чуждым авторитетам; лучшим доказательством тому служат, с одной стороны, сказки Пушкина, с другой — «Руслан и Людмила», самые слабые, как известно, из всех его произведений. С неуместностию подражания чужим авторитетам согласятся, конечно, все; но, быть может, возразят иные: если поэт в своих трудах не будет постоянно иметь в виду, иметь целью родной народ, он никогда не станет его поэтом: народ, простой народ его читать не будет. Но, мм. гг., какой же великий поэт читается теми, кого мы называем простым народом? Немецкий простой народ не читает Гёте, французский — Мольера, даже английский не читает Шекспира. Их читает — их нация. Всякое искусство есть возведение жизни в идеал: стоящие на почве обычной, ежедневной жизни остаются ниже того уровня. Это вершина, к которой надо приблизиться. И всё-таки Гёте, Мольер и Шекспир — народные поэты в истинном значении слова, то есть национальные. Позволим себе сравнение: Бетховен, например, или Моцарт, несомненно, национальные немецкие композиторы, и музыка их по преимуществу немецкая музыка; между тем ни в одном из их произведений вы не найдёте следа не только заимствований у простонародной музыки, но даже сходства с нею, именно потому, что эта народная, ещё стихийная музыка перешла к ним в плоть и кровь, оживотворила их и потонула в них так же, как и самая теория их искусства, — так же, как исчезают, например, правила грамматики в живом творчестве писателя. В иных, ещё более отдалённых от той ежедневной почвы, более в себе замкнутых отраслях искусства самое название «народный» — немыслимо. Есть национальные живописцы: Рафаэль, Рембрандт; народных живописцев нет. Заметим

кстати, что выставлять лозунг народности в искусстве, поэзии, литературе свойственно только племенам слабым, ещё не созревшим или же находящимся в поработанном, угнетённом состоянии. Поэзия их должна служить другим, конечно, важнейшим целям — сбережению самого их существования. Слава Богу, Россия не находится в подобных условиях; она не слаба и не поработана другому племени. Ей нечего дрожать за себя и ревниво сберегать свою самостоятельность; в сознании своей силы она даже любит тех, кто указывает ей на её недостатки.

Возвратимся к Пушкину. Вопрос: может ли он назваться поэтом национальным, в смысле Шекспира, Гёте и др., мы оставим пока открытым. Но нет сомнения, что он создал наш поэтический, наш литературный язык и что нам и нашим потомкам остаётся только идти по пути, проложенному его гением. Из выше сказанных нами слов вы уже могли убедиться, что мы не в состоянии разделять мнения тех, конечно, добросовестных людей, которые утверждают, что настоящего русского литературного языка вообще не существует; что нам его даст один простой народ вместе с другими спасительными учреждениями. Мы, напротив, находим в языке, созданном Пушкиным, все условия живучести: русское творчество и русская восприимчивость стройно слились в этом великолепном языке, и Пушкин сам был великолепный русский художник.

Именно: русский! Самая сущность, все свойства его поэзии совпадают со свойствами, сущностью нашего народа. Не говоря уже о мужественной прелести, силе и ясности его языка, эта прямодушная правда, отсутствие лжи и фразы, простота, эта откровенность и честность ощущений — все эти хорошие черты хороших русских людей поражают в творениях Пушкина не одних нас, его соотечественников, но и тех из иностранцев, которым он стал доступен. Суждения таких иностранцев бывают драгоценны, их не подкупает патристическое увлечение. «Ваша поэзия, — сказал нам однажды Мериме, известный французский писатель и поклонник Пушкина, которого он, не обинуясь, называл величайшим поэтом своей эпохи, чуть ли не в присутствии самого Виктора Гюго, — ваша поэзия ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собою; наши поэты, напротив, идут совсем противоположной дорогой: они хлопочут прежде всего об эффекте, остроумии, блеске, и если ко всему этому им предстанет возможность не оскорблять правдоподобия, так они и это, пожалуй, возьмут в придачу»... «У Пушкина, — прибавлял он, — поэзия чудным образом расцветает как бы сама собою из самой трезвой прозы». Тот же Мериме постоянно применял к Пушкину известное изречение: «*Proprie communia dicere*»<sup>2</sup>, признавая это умение самобытно говорить общеизвестное — за самую сущность поэзии, той поэзии, в которой примиряются идеальное и реальное. Он также сравнивал Пушкина с древними греками по равномерности формы и содержания образа и предмета, по отсутствию всяких толкований и моральных выводов. Помнится, прочтя однажды «Анчар», он после конечного четверостишия заметил: «Всякий новейший поэт не удержался бы тут от комментария».

2

Неполная цитата из Горация: *Difficile est proprie communia dicere* (лат.) — Трудно выражать общеизвестные истины.



Мериме также восхищался способностью Пушкина вступать немедленно *in medias res*, «братъ быка за рога», как говорят французы, и указывал на его «Дон-Жуана», как на пример такого мастерства.

Да, Пушкин был центральный художник, человек, близко стоящий к самому средоточию русской жизни. Этому его свойству должно приписать и ту мощную силу самобытного присвоения чужих форм, которую сами иностранцы признают за нами, правда, под несколько пренебрежительным именем способности к «ассимиляции». Это свойство дало ему возможность создать, например, монолог «Скупого рыцаря», под которым с гордостью подписался бы Шекспир. Поразительна также в поэтическом темпераменте Пушкина эта особенная смесь страстности и спокойствия, или, говоря точнее, эта объективность его дарования, в котором субъективность его личности сказывается лишь одним внутренним жаром и огнём.

Как бы то ни было, заслуги Пушкина перед Россией велики и достойны народной признательности. Он дал окончательную обработку нашему языку, который теперь по своему богатству, силе, логике и красоте формы признаётся даже иностранными филологами едва ли не первым после древнегреческого; он отозвался типическими образами, бессмертными звуками на все веяния русской жизни. Он первый наконец водрузил могучей рукою знамя поэзии глубоко в русскую землю; и если пыль поднявшейся после него битвы затемнила на время это светлое знамя, то теперь, когда эта пыль начинает опадать, снова засиял в вышине водружённый им победоносный стяг. Сияй же, как он, благородный медный лик, воздвигнутый в самом сердце древней столицы, и гласи грядущим поколениям о нашем праве называться великим народом потому, что среди этого народа родился, в ряду других великих, и *такой* человек! И как о Шекспире было сказано, что всякий, вновь выучившийся грамоте, неизбежно становится его новым чтецом — так и мы будем надеяться, что всякий наш потомок, с любовью остановившийся перед изваянием Пушкина и понимающий значение этой любви, тем самым докажет, что он, подобно Пушкину, стал более русским и более образованным, более свободным человеком! Пусть это последнее слово не удивит вас, мм. гг.! В поэзии — освободительная, ибо возвышающая, нравственная сила. Будем также надеяться, что в недалеком времени даже сыновьям нашего простого народа, который теперь не читает нашего поэта, станет понятно, что значит это имя: Пушкин! — и что они повторят уже сознательно то, что нам довелось недавно слышать из бессознательно лепечущих уст: «Это памятник — учителю!»